

В.П. Лукьянин

ОСТАЕМСЯ ШЕСТИДЕСЯТНИКАМИ

В изображении малограмотных, но самоуверенных «профессионалов» либерально-рыночного помета шестидесятники напоминают первый советский серийный телевизор КВН: нечто доморощенное, примитивное, безнадежно устаревшее, громоздко-неуклюжее, с крохотным экранчиком и громадной линзой – тонкостенным стеклянным сосудом, наполненным дистиллированной водой.



Сами шестидесятники – люди все уже крепко в годах и в новой жизни чувствующие себя неуверенно – спорить не решаются: дескать, да, верили, да, мечтали, были молодыми, неопытными, наивными, время было такое, был такой грех. А потом стали старше – поумнели, отбросили флер романтических представлений, поняли: не стыкуется, не реформируется, не светит. Миль пардон, господа, что мы невольню кому-то морочили голову, больше не будем.

...Университетские годы нашего курса полностью – с небольшими зазорами на входе и выходе – укладывались в «идеологические» шестидесятые: поступили в 1957-м, полтора года спустя после XX съезда, и закончили в 1962-м, за полтора года до отстранения Хрущева. Это время и сформировало нас (не будет ли слишком самонадеянным сказать, что и мы повлияли на его формирование?). При этом нам и в голову не приходило называть себя шестиде-

сятниками: хорошо знакомое нам слово прилагалось тогда только к известной плеяде русских интеллигентов прошлого века – Некрасов, Добролюбов, Чернышевский, Писарев... Да ведь в то время, о котором вспоминаю, принадлежность к поколению никого особенно и не занимала, это уж намного позже объявились «сорокалетние» (иные по возрасту не

дотягивали, а кому-то перевалило и за пятьдесят – все равно «сорокалетние»), тогда и шестидесятники плотнее сдвинули ряды.

Наверно, вот эту нечувствительность к границам поколений и следует представить как первую особенность нашего курса. Дело даже не в том, что нам не приходило в голову предъявлять счета предшественникам или посматривать свысока – этакими армейскими «дедами» – на идущих следом. Просто курс был небывало пестрым по возрастному составу. Поступило некоторое количество вчерашних школьников (по преимуществу медалистов, иным было не пробиться), зато обнаружилось среди нас и настоящие «ветераны» (конечно, на общем юном фоне).

Лева Липатов успел даже повоевать в последние месяцы Великой Отечественной – сколько ж ему было в 1957-м? Тридцать исполнилось точно, а это предельный возраст, позволявший быть зачисленным на дневное отделение. Кажется, он этот рубеж тогда немного

даже перешагнул – выходит, был зачислен с нарушением правил. На факультет Лева пришел из маляров – работал в какой-то строительной организации на Эльмаше и поначалу продолжал жить в рабочем общежитии (я тогда жил неподалеку, тоже в заводском общежитии, и у него бывал). После войны в жизни Льва Владимировича случилось некое событие, о котором он и многие годы спустя вспоминать не любил – и я гадать не стану. Во всяком случае, имея очень живой ум и собственное небанальное суждение обо всем, заядлый спорщик по разным мировоззренческим поводам, он остреегался высказываться публично, особенно старался не вступать в споры с политическим оттенком, которые тогда начинали мало-помалу приобретать публичность.

Тридцать было и Кириллу Андреевичу Тико-Дикосу – мы его и тогда часто величали по имени-отчеству. Не потому, что почитали таким уж «взрослым», а просто ему шло. Коренастый, неторопливый, степенный и совершенно лишенный позы; громкоголосый певец и страстный книголюб и книгочей. Он как-то ухитрился даже в общежитии собрать приличную библиотеку. (Годы спустя по радио был цикл литературных передач «Библиотека Кирилла Андреевича» – просто совпадение, к Тико-Дикосу – никакого отношения, но нам, бывшим однокурсникам, всегда казалось, что это о нем.)

Кирилл Андреевич родом был из Евпатории; его тоже где-то в конце войны призвали в армию, но будто из-за дистрофии (а может, и по анкетным данным) зачислили в стройбат. А пока он служил, его семью – дружный клан крымских греков – выселили на Северный Урал. После армии Кирилл отправился к ним – а куда бы еще? – и тут же был по-

ставлен на учет в краснотурьинской комендатуре.

Но самой необычной студенткой, несомненно, была Феша Андреева. Происходила она из семьи спецпереселенцев-«кулаков», высланных в поселок Мартюш близ Каменска-Уральского. С подросткового возрастахватила лиха на разных работах, но как-то так повернулось, что довольно рано закрепились на учительской работе. Про ее «кулацкие» корни мы тогда не знали, но довольно быстро просочилось (не от нее самой, а то ли с кафедры, то ли из деканата), что до поступления к нам на дневной курс она 12 лет работала в школе, из них 10 (десять!) – директором. Потом явилось и подтверждение: два года спустя к нам же, на первый курс филфака, поступил один из ее учеников – Саша Падерин (сейчас военный историк, полковник в отставке, живет в Москве), и так случилось, что поселили его в комнате общежития, где жили мы с Кириллом и Степой Гончаровым. И когда Феша к нам заглядывала или когда просто заходил разговор о ней в ее отсутствие, Саша называл ее не иначе как Феклой Трофимовной и отзывался о ней всегда очень почтительно. Надо сказать, что мы все вполне разделяли это отношение, хотя звали ее все-таки Фешей.

Понятно, что ни Лева, ни Кирилл, ни Феша со своими анкетными данными года за два до того не могли и думать об учебе в университете – оттого и не поступали. Им, можно сказать, повезло: «оттепель» пришла, когда их возраст еще позволял (пусть иногда с натяжкой) поступить на дневное отделение. Повезло и курсу – в том, что в те годы они оказались среди нас.

У других с анкетными данными, надо полагать, было попроще – так и возраст у них был поменьше: Коля

Морозов, Гена Яшанов, Степа Гончаров, Ира Селаври, Вера Бессмертная хотя и были лет на пять-семь старше вчерашних школьников, но все же они вступали в сознательную жизнь во времена менее опасные. Хотя, честно говоря, подробностей их жизни до университета не знаю – не принято было об этом распространяться, каждый прятал свой скелет в шкафу. Я и сам старался не афишировать, что отец мой был расстрелян как «враг народа» за два месяца до моего рождения, в 1937 году.

Большинство однокурсников было примерно моего (плюс-минус год, два) возраста. В университет пришли, поработав после школы два-три года на производстве. (Я тоже, правда, окончил не обычную среднюю школу, а машиностроительный техникум и два года работал в конструкторском бюро.) Мы стали первым курсом «производственников»: как раз в то время где-то наверху решили, что двух-трехлетний трудовой стаж очень полезен для поступающих в вузы, потому что он предполагает больше серьезности, осмыслительности, ответственности, житейской умудренности при сохранении юношеской способности воспринимать и перерабатывать новые знания. И предоставили «производственникам» преимущества при поступлении.

Сразу скажу, что результат получился, как говорится, «фифти-фифти»: во многих случаях расчет оправдался, но было ведь и так, что человек раньше уже пытался поступать и проваливался на вступительных экзаменах и раз, и два, а тут вдруг – послабление. Поступить-то поступил, а запаса знаний и прилежания не хватило, чтоб закрепиться. После первой же сессии был большой отсев, позже и другие «сходили с дистанции» по разным причинам. Хорошо было вписалась в

атмосферу курса Марина Науменко – очень старательная, но неважно подготовленная и не очень способная к учебе девушка; отчислили после первого курса, после того ничего о ней не слышал. Упомянутого Колю Морозова отчислили после второго курса, потом он восстановился на заочном отделении, трудно дотягивал до диплома... Любу Лапину – тоже после второго (она потом доучивалась в Одессе, уехала с мужем-журналистом на Дальний Восток, сейчас – доцент Владивостокского университета). «Брат Яшанов» (так его почему-то на курсе звали), Оля Гречишкина, Стас Вагин перешли на факультет журналистики... Очень колоритной фигурой у нас была Маша Семенова, впоследствии Мария Кирилловна Пинаева – в конце 80-х она приобрела в городе известность как активная деятельница русского национал-патриотического движения. Ее исключили с нашего курса за дисциплинарную провинность, на следующий год она поступила снова – и примерно та же история повторилась. Потом уж она заочно окончила факультет журналистики.

Но я немного отвлекся, а между тем хотелось мне показать, что наш курс состоял из людей, обладавших определенным (в некоторых случаях весьма основательным и непростым) жизненным опытом, и тем был непривычен для факультета. Это был своеобразный вызов времени, обращенный к преподавателям. Ибо преподаватели как раз в большинстве своем, напротив, были молоды; те, кто больше всего имел дело с нашим курсом и оставил особенно глубокий след в нашей коллективной биографии, были ровесниками старших из нас. Лидии Александровне Кишинской, Эре Васильевне Глазыриной (более молодые выпускники филфака помнят ее уже как

Кузнецову), Александру Константиновичу Матвееву было каждому в год нашего поступления где-то около тридцати, Владимиру Владимировичу Кускову – аж тридцать семь, Михаилу Адриановичу Батину и Ивану Алексеевичу Дергачеву – они уж и вовсе казались ветеранами – было хорошо за сорок, но еще довольно далеко до пятидесяти.

Задним числом прихожу к выводу, что вот эта размытость возрастных барьеров стала если не главной, то первой причиной того, что между курсом и наставниками сложились отношения партнерства – очень доверительного и уважительного, даже дружеского с обеих сторон, однако без намека на упрощение и панибратство. Нам казалось вполне естественным, если, например, Владимир Владимирович оказывался участником нашего «междусобойчика» и первым запевал: «На острове Таити жил негр Тити-Мити». (К слову: вульгарных пьянок на курсе никогда не бывало, и каких-то осложнений с этой стороны никто не опасался.) А Эра Васильевна замечательно танцевала вальс (мне много раз случалось бывать ее партнером) – она была тогда такая тоненькая, стройная, легкая.

Более всего, однако, нас всех объединял не возраст, а внезапно раскрывшиеся для всех горизонты. Сегодня пишут про обманчивое потепление. Ну, если вы сами любите обманываться, тогда конечно... Но разве дело в том, что власти трусили и кое в чем пошли на попятную? Дело ведь в переломе, который произошел в нас самих. У всех, кто тогда учился вместе с нами и кто нас учил, было еще очень свежее ощущение уходящей эпохи (да и Сталин ведь еще лежал в Мавзолее), но уже все почувствовали, что можно и нужно жить иначе – по правде и справедливости. Мы стали другими

людьми. А став другими, можно ли потом возвратиться в прежнее состояние? По-моему, просто не получится. Да мы и не старались.

Правда, еще недавно отгороженная от нас несокрушимыми замками и колючей проволокой, приоткрывалась неспешно – так же неспешно, как тают мартовские сугробы. Преподаватели, знавшие, естественно, намного больше нас, делились с нами информацией, которой еще нельзя было найти в подцензурных изданиях. Помнится, особенно откровенен был Иван Пименович Плотников, который вел семинары по истории КПСС, и мы любили... ну, не то чтобы этот предмет, даже, пожалуй, и не семинары, а просто этого душевного человека, которого и по сей день мы, филологи, вспоминаем как одного из главных наших наставников.

Не стану, однако, преувеличивать влияние наших экскурсов в область полузапретного: ведь все это происходило на фоне изучения университетских курсов. На нас, пришедших на факультет отнюдь не из элитарных школ гуманитарного профиля (таковых и не было тогда), обрушивалась ошеломляющая лавина шедевров мировой культуры, по силе воздействия, несомненно, превосходившая поток «возвращенной» литературы, настигший нас три десятилетия спустя. Я имею в виду, что Гомер или Аристофан были для нас не менее новы и интересны, нежели недавно переизданные Платонов или Бабель. Пожалуй, вот эта одновременность приобщения к двум источникам сняла в нашем восприятии налет сенсационности с драматически переживаемого страной перехода от «нельзя» к «можно». Мы это «можно» восприняли как «нужно», и на такую установку уже не могли повлиять никакие политичес-

кие зигзаги послеоттепельных времен.

Ну, а что нам было «нужно»? Тут морально-нравственные установки оказывались, пожалуй, не менее важны, чем познавательные. У нас на курсе как-то совершенно естественно – никто тут роль резонера на себя не брал – доминировали именно те ценности, которые раскрывались через приобщение к открывающемуся для нас массиву новых знаний – от Аристофана до Платонова. То есть какие-то нормы поведения были для нас естественны, а какие-то, напротив, немыслимы.

Для наглядности два-три примера. Помню, сдавали зачет Кищинской. Встретилась в коридоре Верочка Саруханова. Спрашиваю: «Почему не идешь сдавать?» – «Плохо подготовилась, – отвечает, – а Лидии Александровне нельзя сдавать плохо». Еще пример: не припомню, чтоб на нашем курсе кто-нибудь когда-нибудь воспользовался шпаргалкой. На других-то, бывало, за особую доблесть почитали, а у нас осуждалось курсовым общественным мнением. Брежговали мы таким способом получения хороших оценок.

А вот еще характерный пример. Прибился как-то к нашему курсу новичок – некто Толя Д., вроде бы из Казани к нам перевелся. Бойкий юноша, общительный. Однажды нас, группу парней, и он был с нами, попросили помочь погрузить какие-то книги в музей Мамина-Сибиряка, куда-то перевезти их нужно

было. Немного времени заняла работа, возвращаемся мы в университет – и вдруг этот Толя достает из-за пазухи какую-то раритетную книжонку и показывает нам, явно рассчитывая на одобрение: вот, мол, сумел воспользоваться случаем. Мы оторопели. Первым, кажется, нашелся Валерий Царегородцев (будущий директор школы уже и тогда отличался решительностью): «Сейчас же, – говорит, – возвращайся назад и отдай! Слышишь?!» Тот растерялся, посмотрел на нас, ища поддержки, – не поддержали. Поплелся... Недолго он пробыл на нашем курсе – едва ли даже до ближайшей сессии дотянул...

Не были у нас в чести ни ловкачество, ни корыстолюбие, ни карьеризм. Тут не было «комсомольской», идейной нетерпимости (наигранность, фальшь тоже не любили), а было просто брезгливое отношение к человеческой непорядочности, ко всякому паскудству. И в этом, если хотите, была суть нашей идеологии. Мы находили для нее опору в идее социализма – в идее (ныне оболганной), подчеркиваю, а не в той извращенной ее реализации, которую каждодневно наблюдали и к которой относились не лучше, нежели она того заслуживала. Поэтому-то мы и были шестидесятники и, насколько я могу судить по редким теперь встречаю с однокурсниками, таковыми все наши до сих пор и остались.

И я рад, что мы не «поумнели».